

Lidia Yuknavitch

Thrust

Лидия Юкнавич

Потрясение

Перевод Юлии Змеевой

Москва
2023

Пояснение к изданию романа на русском языке

В июле 2022 года издательство «Лайвбук» подписало договор с Лидией Юкнавич на перевод ее романа «Потрясение». С момента приобретения прав на публикацию книги российское законодательство изменилось. Федеральный закон № 479-ФЗ о запрете ЛГБТ-пропаганды среди взрослых, вступивший в силу 05.12.2022, существенно ограничивает упоминание любых нетрадиционных отношений в книгах. Мы обеспокоены тем влиянием, которое он оказывает на нашу работу, однако не можем не принимать его во внимание.

Поэтому мы договорились с автором о публикации варианта книги, где скрыты строки, которые могут быть истолкованы как нарушение законодательства. Лидия Юкнавич согласилась с таким решением; в данном издании часть текста закрыта. При этом мы имеем возможность издать книгу. Мы благодарим автора и надеемся на понимание читателей.

Команда издательства «Лайвбук»

Книга эта для Майлза Минго, солнца жизни моей.

*И для всех детей,
которым следующим предстоит перейти порог;
для всех тел и душ, сирот и отщепенцев,
иммигрантов и беженцев, людей всех гендеров,
всех потерянных и обретенных прекрасных
существ, ищущих берег, дом, сердце.*

*Промежуток между детством и недетством:
пусть он станет для вас всем.*

*Как можно дольше оставайтесь в этом
промежутке. Вы правы. Вы и есть новый мир.*

«Я говорю, что пишу о времени и воде, а люди открывают глаза и уши и спрашивают: „О, а что вы имеете в виду?“ А я отвечаю: „В следующие сто лет изменится состав воды на планете; он уже меняется“. Тают ледники. Повышается уровень моря. Уровень кислотности океана, рН, достиг отметки, какой не было за пятьдесят миллионов лет. И все это за срок, равный одной человеческой жизни».

Андре Снайр Магнасон

«Она почувствовала... как жизнь, прежде состоявшая из маленьких разрозненных событий, которые человек проживал одно за другим, закручивается спиралью и сливается в одно целое, в волну, что увлекает за собой человека и выбрасывает его на берег одним сокрушительным ударом».

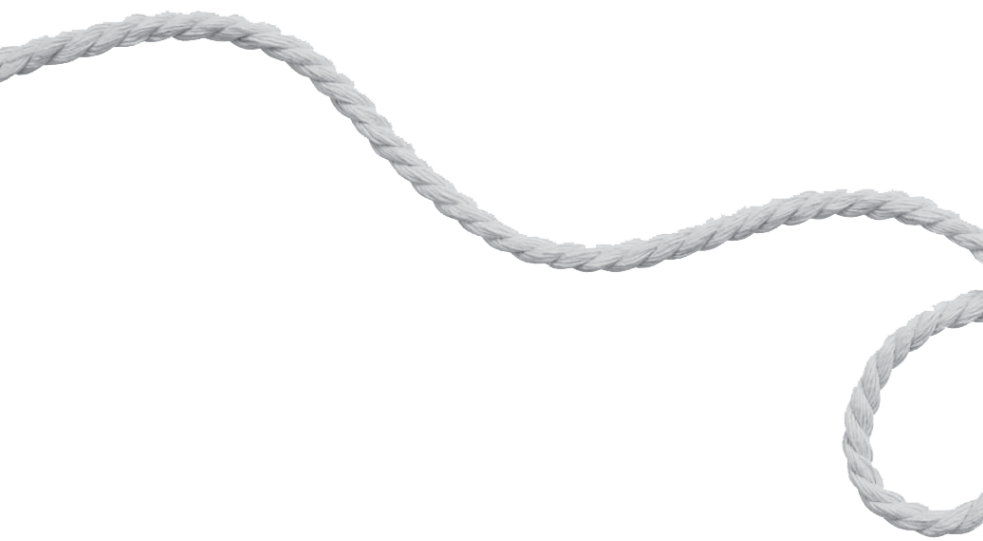
Вирджиния Вулф

«Исторический рассказ о прошлом не означает, что автор знает, как все „было на самом деле“. Он лишь пытается запечатлеть воспоминание, ярко полыхнувшее в момент угрозы».

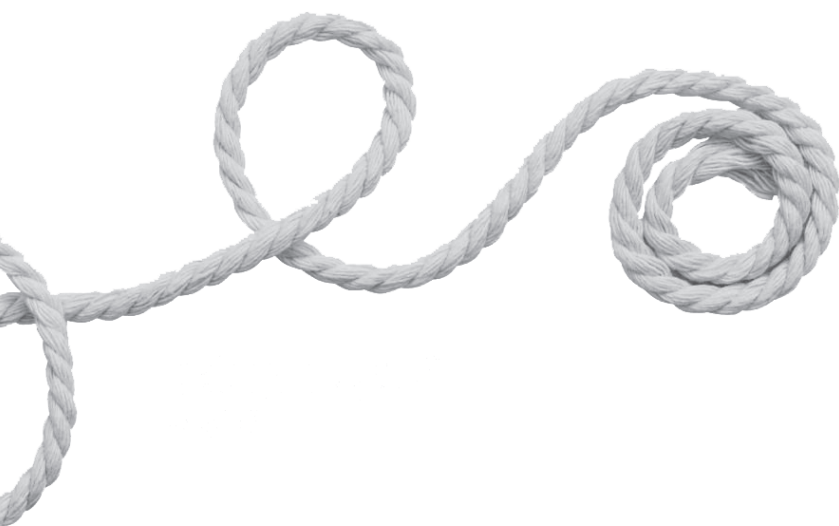
УОЛТЕР БЕНДЖАМИН

«Должно быть, нам, бегущим от нынешнего порядка, надлежит укрыться в подземелье, чтобы нас раскопали не бесчеловечные экскаваторные машины взрослой логики и благородные мудрецы, которые утверждают, будто им известен путь, а мягкие лобопытные пальчики наших детей, ласково роющие почву, щекочущие землю, пока та не рассмеется во весь голос».

БАЙО АКОМОЛАФЕ



Монетка



Первый перекресток

В своих мечтах мы представляли ее нашей матерью.

Раз мы ее построили, думали мы, значит, ей и принадлежим. Мы собрали ее из кусков наших тел, из кусков наших собственных историй и историй, которые были до нас и будут после нас. Она приплыла на корабле по кускам.

Когда «Изера» наконец прибыла в порт, мы плакали. Матросы тоже плакали. Они думали, что бури, которые им пришлось вытерпеть на борту, потопят их в океане и груз потонет вместе с ними. Палуба корабля была размером с поле. Трюм на время пути накрыли громадными полотнищами черного брезента. Когда матросы их убрали, нашим глазам открылась зловещая темнота.

Меня попросили прыгнуть в этот мрак.

Я словно нырнул в океанские глубины.

Там, в трюме, глаза стали привыкать. В гигантских ящиках размером с дом лежали куски колосса: женщина, разрезанная на ломти, расфасованная

по ящикам и отправленная кораблем за океан. Одну за другой мы отыскивали части ее тела.

Волосы.

Нос.

Венец.

Глаза.

Рот.

Пальцы. Ладонь.

Стопа.

Факел.

Вот что я имею в виду, когда говорю, что она приплыла на корабле по кускам.

Позже, обсуждая сборку, инженер сказал, что реконструировать статую поможет «эмбриональный маяк» — так они называли ее остов. И все же назначение многих элементов конструкции оставалось для нас загадкой; мы не могли понять, что с ними делать. Приходилось пускаться в ход воображение, приспособлять их на ходу.

В эти месяцы мы жили в городе и работали на острове. Мы были плотниками, кузнецами, кровельщиками, штукатурщиками и каменщиками. Мы были сварщиками, столярами, монтажниками труб. Мы мешали бетон, долбили землю, орудовали пилами и бурами. Среди нас были специалисты по листовому металлу и меди. Статуя попала нам в руки грудой меди весом тридцать одну тонну и грудой стали весом двадцать пять тонн. Ее кожа — внешний слой — состоял из трехсот медных листов.

Были среди нас и повара, уборщики, монахини и ночные сторожа. Санитарки, художники, дворники, бегуны, курьеры и воры. Были матери, отцы, бабушки и дедушки, сестры, братья и дети.

Днем не замолкал настойчивый стук молотков, визг напильников, лязг цепей, звон меди, принимающей нужную форму на деревянном каркасе. Так звучал нестройный оркестр нашего труда. Повсюду видны были взмывающие руки, напряженные плечи и бицепсы, сжатые челюсти и зубы. Так звучал оркестр наших тел. Ее тела, оживающего под нашими руками. *Наше тело* гордилось своим трудом — мы словно надеялись, что кто-нибудь когда-нибудь узнает наши имена и сохранит наши истории.

Когда в гавани разбушевались ветра, от деревянных лесов пришлось отказаться. Их заменили шкивами и веревками. Мы были аккуратны, старались не повредить мягкий металл. Мы висели вокруг ее тела, кружились вокруг его частей — как воздушные гимнасты, птицы или мойщики окон; мы были связаны к ней.

Иногда, всего на миг, история становится такой реальной, что и человек внутри нее ощущает себя реальным. И начинает казаться, будто все мы существовали на самом деле.

По ночам, когда работа прекращалась, некоторые из нас вставали вокруг ее головы и смотрели в ее огромные круглые глаза. В них читалась печаль. Или печаль с примесью ярости. Глаза ее были намного больше человеческой головы. Ее лицо не напоминало

ни мужское, ни женское, а может, наоборот, сочетало в себе и мужские, и женские черты. Ее взгляд заключал в себе весь наш труд, но также нашу потерю, нашу любовь, наши жизни. Порой, находясь рядом с ней, мы думали или чувствовали *мама*, но вкладывали в это слово иной, новый смысл, дотоле неведомый.

Мы были невозможно возможным голосом тел.

Некоторые из нас родились здесь, другие были сыновьями и дочерьми матерей и отцов из далеких мест. Наши матери и отцы бежали от голода, нищеты, оккупации, войны и зверств. Они бежали оттуда, где оставаться было нельзя, и потому пересекли океаны и пустыни. Они рассказывали о преследованиях и бедности, а еще — о бескрайних холмах, закатах над песками и об экзотических цветах с названиями, хранившимися в наших сердцах. Покидая свой край, они испытывали грусть и облегчение, но прибыв сюда, чувствовали то же самое. Мы говорили о жестокости и красоте и вспоминали красоту родных мест, но крошечные ручки родившихся на новой земле младенцев тоже были красивы. Чтобы приехать сюда, мы разомкнули объятия со своей прежней родиной.

Среди нас были евреи, итальянцы, литовцы и поляки. Были ирландцы, китайцы и индейцы. Немцы, тринидадцы, шотландцы. Нас были сотни; мы прибывали в разное время и из разных мест, и сколько всего нас было, сосчитать невозможно.

Мы были океаном рабочей силы. В этом океане слышалась русская, французская, итальянская,

английская и китайская речь, ирландский и идиш, суахили, лакотский, испанский и целый калейдоскоп диалектов. Наша речь сливалась в гимн.

Мы понимали, что труд пересек океаны. Кто-то разгружал части статуи после ее океанского путешествия; другие собрали ее по частям. Первые ощущали со вторыми странную связь. Мы ощущали связь друг с другом и с ней. Хотя, возможно, нам это казалось.

Из разговоров мы — если бы *мы* были единым целым — поняли, что французские рабочие хотели создать памятник в честь отмены рабства. Первая модель статуи, сделанная французским скульптором, держала в руке разорванную цепь. Мы видели чертежи. Модель. Знали, что символизировала цепь. Многие при мысли о цепях потирали кисти, щиколотки и шею. Но потом цепь переместили. Статуя больше не держала ее в руках, как не сковывали цепи и нас. Теперь цепь лежала у нее под ногами.

Уже тогда мы могли бы понять — почувствовать телом, — что рана, нанесенная войной, никогда не затянется и швы, которыми прошиты наши штаты, наложены криво. Что некоторых из нас по-прежнему не будут считать за людей и наши права будут попирааться ежедневно. Что дети на фабриках будут стирать руки в кровь. Что на нас не будут распространяться законы, хотя это именно наши тела построили дороги, протянувшиеся через всю страну. Но мы продолжали обмениваться историями, которые, невзирая на наш изнурительный труд, сулили нам безграничные возможности и множество открытых дорог.

Мы могли бы стать ее детьми, но уже тогда в истории стали появляться маленькие трещины, как и в материалах, из которых было сделано ее тело и наш труд. Вместо разорванной цепи ей в руки вложили скрижаль. Скрижаль символизировала власть закона. Разорванную цепь и кандалы сдвинули в сторону; их стало почти не видно за ее стопами. Но мы-то знали, что они там — они оказались там в результате нашего труда, — и у нас были на этот счет кое-какие мысли.

Нам было любопытно, какие истории породит новообретенная свобода, если цепей теперь не видно. Какие истории породит скрижаль и новое главенство закона. Нам было любопытно, что сама статуя думала по поводу изменений, внесенных в ее тело, и по поводу того, как переписали ее историю. Однако никто не интересовался нашим мнением и ее мнением тоже. Статуи не умели говорить. Иногда мы боялись, что, может, она вовсе нам не принадлежала, а мы не принадлежали ей, но никто не признавался в этом вслух, потому что всем надо было зарабатывать на хлеб.

Однажды, когда мы занимались отделкой головы и лица, положив их на землю, мимо прошла суфражистка, возвращавшаяся с марша протеста, и плюнула ей в лицо. Она воскликнула: *«Разве может быть женское лицо символом свободы, если женщины не могут голосовать?»* Ее всю трясло, а ее вопрос стекал по твердой медной щеке.

Я долго вспоминал эту струйку.

Когда ночью все ушли спать, я взял тряпицу и вытер медную щеку, роняя слезы. Суфражистка была

права. Я понимал, что она имела в виду. Но я был среди тех, кто трудился над лицом этой статуи и старался вложить в ее черты торжественность и хрупкость идеи, которая могла бы привести к прекрасному будущему. Когда-нибудь — не в нашей жизни, но когда-нибудь — это лицо могло стать тем, чем мы еще пока не стали. Свобода, невидимая за кандалами, скрытыми под ее стопами, поднималась вверх по ее телу и руке до самого факела, неба и бесконечных сфер. Ее лицо являлось мне в моих странных снах. Мое лицо тоже было покрыто отметинами.

Наш труд обладал ритмом и формой, которые были выше наших различий и простирались далеко за их пределы. Наш труд был песнью, помогавшей ощутить себя частью целого, которое, возможно, было иллюзорным, а возможно, существовало на самом деле. Песнь помогала трудиться и помогала нашим телам не уставать и не сдаваться тяготам. Песнь *нашего тела* звенела в воздухе и отражалась от поверхности воды иначе, чем песнь одного человека; мы были частью всего и частью ничего.

В те дни впервые в моей несчастной жизни у меня появились люди, которых я любил. Эндора и Дэвид, Джон Джозеф — все мы явились из разных мест, и всех объединило тело статуи.

Может, из-за того, что мы строили ее тело, наши тела ощущались совсем иначе, и это сплотило наши сердца. Меня, чья кожа напоминала лоскутное одеяло, Эндору с ее бесплодным чревом и острым языком, Дэвида с мозаикой молочно-белых шрамов на спине

и Джона Джозефа, умевшего говорить руками, будто стремясь выразить смысл, который слова передать не могли. Так его слова достигали ушей его предков.

А может, мы полюбили друг друга, потому что нас объединил труд. Так иногда бывает с рабочими, которые трудятся бок о бок. А может, все мы так искали что-то важное в этом новом месте, что вывернули друг перед другом свои души. Не знаю.

Я лишь знаю, что мы построили ее из кусочков своих тел, из наших собственных историй и историй, которые были до нас и будут после нас. Она носила нас в себе.

По крайней мере, так нам казалось.

Иногда по вечерам, закончив работу, Джон Джозеф, Эндора, Дэвид и я пили допоздна и говорили о том, как бы мы жили, если бы статуя, которую мы строили, на самом деле символизировала свободу. Если бы она по-прежнему держала разорванные цепи в левой руке и все бы их видели.

Как бы мы жили, если бы статуя рассказывала другую историю, ту, что и была задумана изначально, а не ту, что написали потом.

Тогда руки Джона Джозефа оживали, и он говорил: *ты мог бы стать президентом*. А я отвечал: *ты мог бы стать министром внутренних дел, а Эндора — вице-президентом!* Эндора же говорила: *с ума сошли? Это я должна быть президентом. Вы только все испортите*. А Дэвид смотрел в огонь и улыбался. Из всех нас он меньше всего верил в фантазии. Он был сердцем нашей компании. Потом мы замолкали

и выпивали. Смеялись до колик в животе. Все казалось таким логичным. За историей нашего труда и наших тел должен был следовать именно такой исход. Легенды, которые мы себе рассказывали, проистекали из легенд, создавших эту тяжеловесную статую. Но в итоге все сложилось совсем иначе.

Однажды вечером мы стояли на берегу и ждали посадки на паром, который должен был отвезти нас обратно в город после рабочего дня. Джон Джозеф наклонился и поднял что-то, лежавшее в грязи. Это оказалась черепашка. Он отдал ее мне. Я взглянул на нее со странным сожалением. Каким красивым был ее маленький крепкий панцирь. И каким уродливым морщинистое тельце внутри. Я поцеловал ее. Уж не знаю, почему. А потом бросил в Нарроуз¹.

И тогда мы вчетвером увидели, как что-то барахтается в воде, и Эндора, затаив дыхание, прошептала: *«Святые небеса, там девочка»*.

¹ Пролив, отделяющий Бруклин от Статен-Айленда.

Девочка из воды

(2079)

— Она похожа на мужчину, — шепчет девочка с черными, как космос, волосами; ее губы шевелятся на уровне ограждения парома. Она шепотом перечисляет: *монетка со Свободой с распущенными волосами. Монетка со Свободой во фригийском колпаке. Монетка с драпированным бюстом. Монетка со Свободой в классическом стиле. Монетка с венцом. Монетка со Свободой с заплетенными волосами. Монетка с парящим орлом. Монетка с головой индейца. Первая монетка с Линкольном*¹.

— Они просто хотели, чтобы она выглядела величаво, — говорит отец. — Как и положено архетипу. — Астер опускает взгляд и смотрит на красную куртку дочери, ее голубые брюки и белую шапочку из кроличьей шерсти, которую связала ее мать.

— А люди могут быть архетипами? — спрашивает Лайсве. Но налетает ветер, и Астер лишь улыбается в ответ и гладит ее по волосам.

¹ Лайсве перечисляет дизайны монеток в один цент с изображением Свободы, отчеканенных в период с 1793 по 1909 годы.

Они все рисковали, выменивая личные вещи на билеты, чтобы увидеть тонущую статую. Паромы в Брук теперь ходят все реже и реже. Никто не знает, долго ли они еще будут ходить. Пережившие коллапс и Великий разлив океана передвигаются небольшими группками, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания и не оказаться в неправильное время в неправильном месте. Беды накатывают волнами, внезапно и непредсказуемо. А паломничество к подводной статуе служит напоминанием об истории, которую они все когда-то знали.

Люди скучились у бортов, как единый человеческий организм, а паром тем временем приближается к месту, где когда-то был остров. Любопытство обретает форму рук и пальцев, вцепившихся в паромное ограждение и друг в друга. Незнакомые люди, нашедшие время, чтобы вместе удовлетворить свое любопытство, — такое встречается нечасто.

Девочка с черными, как космос, волосами, находит себе местечко между ног пассажиров.

— Не подходи близко к борту, Лайсве, — предупреждает Астер. Он знает, как сильно тянет его дочь к воде.

Многослойный рокот голосов возносится к небу, а паром приближается к месту назначения. Корму заполняют затылки детей, невысоких, как положено быть малышам; некоторые вытягивают пальцы и указывают на предмет, торчащий вдали из воды, и этим жестом словно называют его: смотрите, статуя!

Суеотящиеся взрослые создают поток кинетической энергии. Мужчины застегивают шерстяные пальто и приосаниваются; женщины поправляют шарфы и шапочки, складывают руки на груди, и у всех — а может, не у всех, но кажется, будто у всех — по мере приближения к статуе немного меняется рисунок дыхания. Возможно, в них просыпается память поколений. А может, им просто хочется выпить пива, съесть пиццу и заняться сексом, или же они надеются, что их не поймают и не отправят домой за то, что осмелились взять выходной, расслабиться и посетить уходящее под воду чудо света.

Астер подхватывает на руки маленького сына; младенец плачет, наверняка сучает по груди матери, которой давно рядом нет. *Тихо, сынок*, шепчет Астер.

Рядом с Астером на корме стоит человек, который не понимает, что отец говорит сыну, но отвечает на младенческий плач на своем языке, говоря: *ах, малыш проголодался*; а женщина, что стоит рядом с этим человеком и не понимает ни его языка, ни языка Астера, улыбается и произносит на своем родном языке: *благослови Господь этот корабль* — а может, это переводится как «благослови эту семью» или «это плавание» — и складывает ладони в молитвенном жесте, который, возможно, для нее является обычным. И все улыбаются, ведь ребенок, плачущий по материнской груди, одинаково плачет на всех языках, а плавание на одном корабле спланивает даже совсем чужих людей.

Внизу, незаметно ото всех, черноволосая девочка начинает карабкаться по перекладинам паромного ограждения и шепчет воде: *мама*. Вода зовет ее уже не в первый раз.

Порой история о том, кем мы можем стать, начинается прежде, чем мы успеваем понять, что произошло. И чтобы собрать все части этой истории, нужно нырнуть под воду.

Голос из громкоговорителя напоминает пассажирам, сколько времени отведено на посещение знаменитой тонущей статуи. Сколько осталось до пункта назначения; сколько паром будет кружить вокруг и когда повернет обратно; сколько останется на покупку еды и сувениров.

Все смеются и подставляют лицо ветру. Отец прижимает к себе сына, вдыхает запах морской воды и сладость младенческой макушки.

А потом пышногрудая женщина с волосами, укрытыми пурпурным шарфом, замечает падающую со второй палубы цветную вспышку; та проносится прямо у нее перед глазами. Женщина кричит. Это не птица; таких больших птиц не бывает. Страх холодит ей грудь. Люди вокруг слышат ее крик и смотрят на нее с тревогой — на каком языке она говорит? На итальянском? Или каком-то другом? Мужчина, стоящий рядом, пытается уловить в ее речи знакомые слова: в детстве он прожил в Германии два года, но это было так давно, много лет назад. Но женщина говорит на баскском. Никто ее не понимает. Один японец кладет ей руку на плечо, не зная, как еще помочь.

Толпа вглядывается в ее лицо, считывает эмоции и понимает, что надо смотреть на воду; тогда-то все и видят девочку, которая упала за борт и барахтается в волнах, постепенно скрываясь под кружевными брызгами, поднимаемыми паромом.

Все бросаются к ограждению, руки вцепляются в белые стальные перекладки, лица полны тревоги и ужаса. «Остановите корабль», — кричат они на разных языках. Кричат и бегают в панике мужчины. Голосят женщины. Дети снуют меж ног родителей. Девочка в воде уменьшается, пропадает из виду.

Астер все еще прижимает к груди сына, но его отеснили назад, и он не видит, что происходит у ограждения; не понимает, почему кричат мужчины и голосят женщины. Он смотрит себе под ноги, ищет дочь.

— Нет, нет, нет, нет, нет, — повторяет он. — Где моя дочь? Лайсве! — кричит он, но всем кажется, что он в отчаянии выкрикивает что-то нечленораздельное.

А потом, быстрее, чем вы успели бы произнести «Америка», Астер передает своего маленького сына незнакомцу, перелезает через ограждение и ныряет вниз, как человек, прыгающий с крыши. Он приземляется в воду и сразу начинает тонуть — по крайней мере, так это выглядит со стороны. Астер не умеет плавать. *Человек за бортом*, кричит кто-то; в воду бросают спасательный круг.

Его маленький сын сидит на руках у незнакомца — малыш, затерявшийся в толпе.

Не может быть, причитает кто-то. Причитание, старое как мир.

Трубят гудок парома, моторы затихают, и судно качается на волнах. Подрагивают сувениры на полках сувенирной лавки. С палубы спускают две спасательные шлюпки; сидящие в них мужчины усиленно гребут, но куда не знают; куда-то назад, где якобы упала за борт девочка. Но в воде ее нет; ее уже не видно. Или все же мелькает среди волн красная курточка, голубые брюки, белая вязаная шапочка из кроличьей шерсти? Чья-то рука вытягивается и указывает на воду.

Сперва все видят лишь руку, венец и лицо громадной утонувшей статуи; то, что осталось от великанши, отливающей зеленоватым блеском в полуденном свете, от достопримечательности, частично погружившейся под воду, за которой они сюда и приплыли — к берегу, которого больше нет и вместо которого осталась только верхняя часть ее туловища.

Но потом они видят девочку. Ее тоненькие ручки. Тело плещущейся маленькой рыбки, дразнящей тех, кто смотрит на нее сверху.

Это невероятно, но кажется, девочка плывет.

Плывет навстречу затонувшим останкам материнского колосса.

Астер, не умеющий плавать отец, спасен; его затащили в шлюпку.

Его маленький сын сидит на руках у непорядочного человека. До того, как ему вручили младенца, драгоценную ношу, он считал это плавание последним подарком самому себе: взглянуть на тонущее чудо, а после покончить с собой, не в силах больше

выносить муки голода и нищеты. Но мальчик на его руках... этот мальчик дорогого стоил.

Девочка из воды на глазах становится безымянной легендой. Люди привыкли не раскрывать свои настоящие имена.

Легенда гласит, что девочка прыгнула за борт и, прежде чем упасть, воспарила, как бестелесная мысль. Вопреки всему и всем она поплыла навстречу тонущей статуе. Отец пытался ее спасти и не сумел, и пока барахтался в воде, потерял своего маленького сына. А девочка доплыла до статуи — ведь она доплыла? Или исчезла, а всем лишь показалось, что она доплыла?